

И я, Соломон,
вам отвечу:
«Испытывая
отчуждение от всего
на свете, я приблизился
к собственной сути.
Чего и вам желаю». Страница 73

Анатолий Андреев

Отчуждение

«Автор»

2006

Андреев А. Н.

Отчуждение / А. Н. Андреев — «Автор», 2006

«Отчуждение» – девятый роман Анатолия Андреева. Его герой – философ Соломон, который пытается реализовать завет мудрецов: познать себя. В произведении нет исторических событий, но есть главное: история души человека, история самопознания, что подчеркивается полемическим жанровым определением короткого романа: роман-эпопея. Любовь, смерть, творчество, одиночество, мелкие и великие стороны человеческой натуры – все это переплавлено в романе в некое «вещество жизни». В тексте много парадоксального сопряжения ситуаций, придающих самым серьезным вещам игровой оттенок. Отчуждение становится инструментом познания. «Испытывая отчуждение от всего на свете, я приблизился к собственной сути. Чего и вам желаю. Только не спешите благодарить меня за доброе пожелание. Не торопитесь, а то успеете», - произносит в конце романа Соломон, ведущий свою духовную родословную от библейского прародителя. Сквозная тема произведений А. Андреева – познание и любовь. Чувство, которое испытывают герои, является космическим по своей природе. Вот почему мужчины и женщины живут в городе Минске, расположенном на планете Земля, которая представляет собой частичку Вселенной.

© Андреев А. Н., 2006

© Автор, 2006

Содержание

Раздел 1. Мы	5
Раздел 2. Папа	15
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Анатолий Андреев

Отчуждение

Роман-эпопея

– Жить сознательно – значит, по определению, существовать автономно. Ведь личность – всегда отдельная единица в социуме, где счет идет на этносы, классы, касты и целевые аудитории. Понимаете, коллега?

– Понимаю.

– В психологическом плане жить сознательно – быть одиноким, в плане социальном – лихим. А вот существовать бессознательно – значит, по определению, тянуться к людям, жить совместно, семейно, не автономно.

– Боюсь, что вы правы.

– Я так просто в ужасе от этого.

– Только заведующему не говорите: он ничего не поймет и опять станет нервничать.

– Что вы, я молчу, как рыба... Зачем нам проблемы?

(Из разговора пациентов в сумасшедшем доме.)

Раздел 1. Мы

1

Мне кажется, в прошлой жизни я был Гераклом. Или Сизифом. Во всяком случае, я чувствую себя на переднем крае борьбы за человеческие возможности и перспективы.

И у меня не притупился еще вкус к подвигам.

Так что меня можно звать Гераклом. Правда, при этом пришлось бы сделать вид, что не существует моего подлинного имени, скрывать которое мне вовсе ни к чему. Позвольте представиться: Вадим Соломонович Локоток. Нет, не еврей. Есть основания полагать, что русский. Мой дед, Кузьма Петрович, начудил с именами детей, решив, что имя определит судьбу. У него было два сына: Соломон и Бетховен (последнего он сначала хотел назвать Че Хевара, но жена его, моя бабушка Соня, легла хилыми костями, и мальчик стал Бетховеном).

Вот таким нехитрым способом дед решил взять судьбу за глотку.

Кузьма Петрович был оригинален во всем. Добрые люди подаются из деревни в город (такова тенденция веков), у него же случилось наоборот. Дети родились и стали подрастать в городе, а потом он перетащил все семейство в деревню. В городе ему было тесно.

Во дворе строптивых детей прозвали, соответственно, Моня и Фашист. Бетховен был немцем, а вовсе не фашистом, и фашистом он быть не мог в силу известных причин: опоздал родиться на добрых лет сто. Но дворовых детей эта неувязочка только раззадоривала. Странное имя – значит, фашист. Не наш. К тому же все помнили, как Бетховен однажды случайно наступил коту Ваське на хвост. Кот Васька вскоре родил семерых котят, а за Бетховеном упрочилась репутация фашиста и живоглота.

Имена в известном смысле сказались на судьбах Соломона и Бетховена: первый исключительно плохо учился в школе, был глух к наукам, а второй оказался туг на ухо и отличался редкостной неприязнью к классической музыке. Свою единственную дочь дед называл Жанной,

в честь Жанны д'Арк, разумеется. Спустя два годика решил переименовать ее в Екатерину I, но было уже поздно: Моня с Фашистом наотрез отказались звать сопливую сестричку Екатериной, да еще Первой.

Мой отец, которому его отец написал на роду быть мудрым, неожиданно для всех подался в энтомологи. Он знал о бабочках все, и, само собой, приобрел-таки репутацию умного. Столько знать и не быть умным – это ведь глупо.

Фашист дослужился до чина полковника артиллерии и стал интернационалистом по убеждению, где-то даже антифашистом.

Мне никто ничего на роду не писал, поэтому я в растерянности подался на философский (может быть, отчасти отчество обязывало?). Меня ничто не интересовало, кроме истины, и я, уверенный в том, что сей благословенной науке обучают всех желающих, стал изучать пыльную «мудрость веков».

Из университета я вынес два твердых убеждения.

1. Философия занимается не Истиной, а ошибочными теориями великих мыслителей; они всегда в чем-то сильно заблуждались, а преподаватели философии, переминаясь на своих стоптанных каблуках, их тактично подправляли, при этом нисколько не претендуя на истинность своих суждений.

2. Философию затем и придумали, чтобы объяснить, что никакой Истины не существует. Чем умнее человек, тем глубже он это понимает. Самые умные, естественно, не понимали уже ровным счетом ничего и, что отличало их от всех остальных, не пытались ничего понять. Свет они уже не отличали от тьмы.

Я, очевидно, был глуп (хотя кличку мне вlepили намертво: Соломон). И я решил искать не Истину, а разобраться с тем, кого можно и нужно считать хорошим человеком. Вроде бы, подмена понятий. Но истина у меня ожила, забродила и заклокотала, что страшно не нравилось моему деду: он считал, что умные люди не должны заниматься такими пустяками; умные люди должны сеять и пахать – поднимать сельское хозяйство, возрождать село. Думать о хлебе насущном. Вот это, понимаешь, дело. А Истина...

Ее, понимаешь, на хлеб не намажешь, ею сыт не будешь, ею даже не подотрешься как следует. Эфемерная, понимаешь, материя. А хороший человек...

Ты у соседей спроси, они всегда скажут, кто хороший, а кто так себе. Сын бабочек всю жизнь ловил сачком, внук «истиной» занимается...

Кузьму Петровича это раздражало.

– Ты мне скажи, – горячился он, составляя идейную оппозицию внуку. – Я жизнь прожил?

– Прожил, – соглашался я. – Но не до конца.

– И вроде бы умом Бог не обнес.

– Возможно.

– И раньше люди жили, не глупее нашего были. Так?

– Это спорный вопрос.

– Что значит спорный? – ершился дед. – Не было бы поколений до тебя – и тебя бы не было. Это тоже спорный вопрос?

– Это истина. В известном смысле. Называется – относительная истина.

– Ты ведь – это не ты, это их продолжение, это они, понимаешь? Я, твой отец, твой прадед... Если мы были дураками, как же ты стал таким умным?

– Нет, дед, ты не дурак; но ты эмпирик, а тут нужна методология.

– А ты знаешь, из чего манная каша состоит? – вкрадчиво спрашивал дед, чувствуя, что у него отбирают наступательную инициативу.

– Не знаю.

– То-то же. У меня спроси. Из пшеницы! Это же знать надо. Вот это умные люди придумали. А методология твоя – это говно от желтой курицы. Вот и весь сказ.

– Да, дед, великий ум – это великое отчуждение... А вот ты скажи: кашу маслом не испортишь?

Дед задумался, а потом осторожно произнес:

– Не испортишь.

– А если ведро масла влить в чугунок?

– Это же дураком надо быть! Ты положи сколько надо – и не испортишь. А заставь дурня Богу молиться, он и лоб расшибет. Ведро...

– Правильно, дед. Это называется стихийная диалектика. Вот ты эмпирик и диалектик, хоть ничему и не учился.

– Потому что у меня голова на плечах есть!

– Правильно. Природная детерминация называется...

– Какому-то фашистскому языку тебя научили, прости Господи. Говори по-человечески, а то я ничего не понимаю.

– Вот-вот, дед внука не понимает, а мы хотим, чтобы народы и цивилизации примирились.

– Это они из-за глупости примириться не могут. Все воюют, воюют...

– Конечно из-за глупости, кто спорит?

Военная тема настроила деда на мирный лад.

– Ты кашу есть будешь, философ?

– Манную? – прищурился я.

– Ага.

– С маслом?

– Конечно, а как же.

– Буду.

– А у тебя губа не дура...

– Губа – она у всех не дура. Губы у нас у всех одинаковые. У нас мозги по-разному устроены. Давай свою кашу.

Когда дед был уже при смерти, ум его стал яснее и крепче. Некоторые его суждения меня поразили. В каком-то смысле то, что я усвоил из бесед с дедом, университету и не снилось.

– Оно, конечно, живем, хлеб жуем, – дед по-рыбы пошамкал ртом. – Но жизнь прожить – не поле перейти. Понял? Ничего ты не понял. Кроме хлеба еще есть душа. А она чего-то болит. И жить спокойно не давала, и помирать мешает. Не угодил я ей.

– Дед, а ты хороший человек?

– Да вроде хороший. Неплохой. Но я какой-то... при поле существовал. Полевой человек. Хомяк, истинный хомяк, убей меня Бог лаптем. Или трава: вырос, дал семя и высох. Тьфу, прости Господи. Чувствую, что это неправильно, но чувствую также, что до правды мне не дойти. Вот детям дал знатные имена, думал, хоть они не будут травой... Я думал, Бетховен умный, раз музыку писал. А оно видишь как вышло... Вся надежда на тебя, Соломон, ай, тьфу, Вадим. Может, хоть фашистская философия глаза тебе откроет?

Я молчал.

– Но на поле истину не ищи. Ее там нет. Это я знаю точно. Пшеница есть, а истины нет. И в церкви, я думаю, истиной не пахнет. Там пахнет ладаном. А при чем здесь душа? То-то. Человек не должен быть хомяком...

– Он должен быть человеком, – сказал «Соломон», то есть я, вкладывая в эти слова какой-то мне самому еще не ясный смысл.

– Возможно, – ответил дед Кузьма Петрович. – Возможно...

С тем и помер – с философской нотой на устах. Я никогда раньше не слышал от него слово «возможно». Он был патриархально категоричен, трогательно и жестоко.

Да, перед смертью он произнес еще одну фразу, для него не характерную. Он сказал:

– Вот ты мне внук, родная кровь. А ведь мы чужие...

– Чужие, – эхом отозвался я и с треском надкусил сочное яблоко: этот звук я с детства воспринимал как лилипутский гром среди ясного неба. Гром, молния, потоки воды с небес – я всегда этого побаивался. Забавно.

2

Меня всегда изумляло и волновало одно свойство реальности: от возможного до невозможного – один шаг; от невозможного до возможного – тоже. Всего один шаг в обратном направлении. Сама реальная возможность перейти черту невозможного волновала меня, придавала энергии и делала меня молодым. Мобильным.

Но вот пробираясь по этой скользкой тропинке, – постоянно перескакивая границы невозможного – я, в конце концов, забрел на опушку детства, с которой и начинал свой тернистый путь.

Прошу понять меня правильно: я не с ума сошел, не об этом речь. Я оказался у разбитого корыта.

Что я хочу сказать? О чем я?

Вот сейчас и разберемся.

В детстве мне казалось, что умному всегда нелегко в жизни. Лично я старался скрывать свой ум (а то, что он у меня был, как-то сразу не вызывало сомнения – ни у меня, ни у моих друзей, ни тем более у недругов). Это уже позже я услышал о «горе от ума», и немало поразился подобному казусу; еще позже узнал, что первым об этом оповестил народы Соломон («Во многой мудрости много печали», – поучительно и бодро сказал Соломон многочисленным ушам и растерянно, даже со страхом добавил: «И кто умножает познания, умножает скорбь?») Думаю, он и сам ошалел от того, что произнес, если, конечно, понял, что сказал...

И практически уверен: при этом он смачно выругался грязным древнееврейским матом.)

Не скрою, мне польстило, что мой тезка и в каком-то смысле предок сподобился на такой кучерявый пассаж. Он на много тысячелетий опередил свое время, мир его праху (если в Библии ничего не напутали, если Соломон – господин Соло, как я называл его про себя, – таки существовал).

Потом я был очарован возможностями ума. Мне казалось, что я на порядок умнее еврейского Соломона, и сумею извлечь из его парадокса тьму тьмущую выгод. Но я лишь все больше и больше постигал причину его растерянности. Вот и вся сомнительная выгода.

А теперь меня мучает ощущение, что меня обманули. Я всю жизнь шел наперекор, скрывал, таился – жил по уму; сейчас мне все чаще начинает казаться, что я бездарно распорядился своей жизнью. А ведь еще ребенком я предчувствовал: будешь умным – профукаешь жизнь. «Смотри-и-и, ой, погоришь!» – лепетал я устами младенца. Но не поверил глупому дитяти – и вот, пожалуйста...

Вот оно, разбитое корыто во всей своей красе – с огромной трещиной посередине, делающей корыто не подлежащим реставрации. Нельзя дважды начать с одного и того же разбитого корыта – невозможно спутать начало и итог. Я прожил не жизнь, понимаете?

Вот дед прожил жизнь, но ему не хватало ума; а я умничал, и мне не хватало жизни. Ум и жизнь – несовместимы, ясно?

Нет, конечно, не ясно. Мне-то хорошо понятно, что вам не ясно. Ладно. Есть один рецепт. Чтобы другие тебя поняли, надо непременно рассказать глупую историю – как правило, историю чьей-нибудь жизни.

Ну, так слушайте. Только, чур, не перебивать и не пытаться делать вид, что вы умнее меня. Я вас умоляю: живите и радуйтесь жизни, не повторяйте моих ошибок. Для того и пишу.

Лучше всего начать старым проверенным способом: «Однажды...» Успех у нетребовательной, а равно и сверхискушенной публики практически гарантирован. Да и у тех, кто считает, что они что-либо понимают, уже есть культурный инстинкт на «однажды». У всего ведь есть свои истоки, начала начал.

Итак, однажды...

Нет, стоп. Должен предупредить, что история начинается не с этого «однажды», с другого, но без первого не вполне будет ясно, где же следует искать само начало.

3

Возвращался я как-то домой (это и есть «однажды» – для тех, кто не понял) с коллективной, и отчасти дружеской попойки, то есть с вечера, где собиралась группа знакомых между собой мужчин, – знакомых настолько, что каждый был предсказуем в своем поведении, словно пес или орел (может, поэтому пьяные повально становятся орлами?). Единственный способ добиться некоторой непредсказуемости – напиться, и таким образом попытаться разогнать скуку, лежащую в основе любого коллективного общения.

Возвращался я, разумеется, в стельку пьяным, и у меня на это были, по крайней мере, две причины: во-первых, напились все, а во-вторых, я был колоссально разочарован тем, что даже водка не разгоняет скуки. Я сделал маленькое открытие: количество водки не переходит в качество, которое на человеческом языке можно было бы выразить так: стало веселее.

Не стало. Количество перестало переходить в качество: боюсь, я сильно потревожил вечный покой герра Гегеля.

Более того, водка только усугубила скуку, превратив выпивку в скуку особого рода – когда непредсказуемость становится предсказуемой – и оттого особенно тошной. Я переживал свое удивительное открытие весьма болезненно, а именно: меня мучило, знобило и колбасило, звезды прыгали под ногами, которые (ноги, а не звезды) отказывались меня слушаться и заплетались в пируэтах. Голова при этом была гнусно ясной, и я с короткими промежутками мягко, но однообразно, пенял себе: «Ну, что, нализался, осла кусок? Теперь будем всю-то ноченьку блевать? Факт. А ведь с самого начала ясно было, чем все кончится. Плесень ты зеленая».

Короткая пауза, замысловатые выкрутасы – и опять: «Ну, что, нализался?..»

Да, была еще третья причина (как же без третьей, роковой?), но она, превратившись в некое фантомное обстоятельство, весь вечер ускользала от моего внимания. Мне не хотелось видеть зарей сияющую рожу шефа, и погасить это сияние ледяная водка очень помогала. В тот вечер я дал ему кличку Юпитер. Народу она пришлась по душе.

Стоило мне присесть на своевременно подвернувшуюся скамеечку, всего пару раз икнуть и нащупать глазами обломок луны, увязший в густой синеве, как рядом со мной о левую руку явился Сатана. Не подошел и не подлетел, а именно явился, подлое бесовское племя. В том, что материализовался именно Нечистый Дух, не было никакого сомнения: вместо лица – рыло безобразное, клыки и отвратительные бутафорские уши, обшитые, невесть зачем, малиновым бархатом.

– Да, братец, – сказал я вместо приветствия, – ну, и омерзительная же у тебя рожа. Просто – тьфу!

Я попытался плюнуть и небрежно растереть ногой. Кажется, сделал это не очень убедительно: получилось нелепое расшаркивание. Перед кем?!

– Бывает, – сказал Сатана и закурил довольно дорогие и ароматные сигареты (коричневые, с золотым ободком), можно было бы сказать, избалованные привычки порядочного чело-

века, если бы это не был (как, интересно, его величать: господин, товарищ, барин?) Сатана собственной паршивой персоной.

– Закурить не желаете?

Последние сомнения развеялись, как дымок его благовонной сигареты: он принимался меня искушать. Ведь курить – здоровью вредить. Это я помнил твердо. Вся разумная Европа бросает курить (безумно переходя при этом на наркотики; но последнее соображение сейчас было неуместно). Следовательно, он покушался на мое драгоценное здоровье.

– Нет, – сказал я, – не желаю.

– Воля ваша, – Сатана оказался еще и воспитанным. Вот попробуй отличить такого в толпе людей – как раз ошибешься.

Чтобы показать, что и я не лыком шит, я тут же взял слово.

– Вначале человек развернут к вам одной стороной – лучшей, разумеется. Но до тех пор, пока вы не поймете, продолжением каких пороков оказываются явленные вам добродетели, вы будете идеализировать человека. (Слово «идеализировать» я выговорил с третьего раза, чем, кажется, завоевал внимание своего визави.) Там, где все говорят: «Как он хорош!» – там я говорю следующее: это какими же отвратительными должны быть недостатки, чтобы ими были порождены столь великолепные достоинства? Это и есть самый настоящий принцип отчуждения, так мешающий жить. Скажите, это ваши дьявольские штучки, мистер Сатана?

Я вдруг понял, что к нему следует обращаться именно «мистер», ибо в наших «товарищеских» широтах Нечистому было бы явно неуютно. Мы ведь люди простые: нам либо подавай истину – либо ко всем чертям с матерями катись.

– Несомненно, – одобрительно крикнул Князь Тьмы с безупречным русским прононсом. Учат их там, в зловонных колледжах, на совесть.

– Ну, и чего вы этим добились, чего? Ведь достоинства все равно реально существуют, так? Так. Правда, тут все дело в чувстве меры, в чувстве соразмерности.

Последнее слово я произнес с трудом, но я не зря старался: оно вызвало огромное уважение со стороны Сатаны.

– В принципе ведь достоинства можно увеличить, а пороки – уменьшить. Это ведь дело духовной технологии, между нами говоря.

– Безусловно, – поддержал меня Сатана, и мне стало казаться, что он ненамного умнее меня, если здесь вообще можно было говорить о превосходстве. Я решил начать с азов, чтобы уяснить самому себе еще не ясную мысль, которая билась в моих словах, словно огромная рыба в удачно закинутом неводе.

– У меня есть принцип, который я называю... Впрочем, сначала принцип, потом название. От вас требуется немного фантазии.

Сатана кивнул. Он был подозрительно ручным и домашним. Каким-то полубесом. Значит, сейчас ошарашит. Будем начеку.

– Вообразите себе грамотную продавщицу, то есть такую, которой кажется, что она грамотная, ибо она знает один маленький секрет – одну грамматическую норму, которой не владеет большинство. Вообразили? Быстро вы справились. Хорошо. Все покупатели твердят: «Одно кофе», тогда как в школе ее учили – «один кофе», и никак иначе. Кофе, почему-то, мужского рода, но об этом, почему-то, мало кто знает. Продавщица – одна из немногих. Представляете, как мало иногда надо, чтобы попасть в число избранных? Но это так, к слову. И вот подходит к нашей продавщице красавец мужчина (лицо явно не обремененное печатью интеллекта) и вкрадчиво сообщает: «Один кофе, пожалуйста». Что происходит с нашей продавщицей, приятной, между прочим, наружности, несколько даже кукольной, с милой родинкой на щеке, как у Мэрилин Монро (кстати, из этой бездарной актриски вышла бы идеальная буфетчица)? Огонь по телу, и она растаяла в мгновение ока. Не замужем: ее можно понять. Ясный сокол тут же добавляет: «И один булочка! Адын!»

Сатана заржал.

– Забавно, черт возьми. Очевидно, принцип называется «один булочка»?

Настал мой черед аплодировать Дьяволу, мысленно, конечно: он был вовсе не так прост, несмотря на свои ослиные уши. Мой принцип действительно назывался «один булочка», и об этом не знал никто, кроме меня. Теперь вот Сатана знает. Принцип работал в жизни на все сто: как только кто-нибудь произносит долгожданное «один кофе», я невероятно настораживаюсь, и чаще всего бываю вознагражден сполна: как правило, незамедлительно следует «один булочка».

– И вы хотите знать, – не дал мне опомниться Сатана, – не сработает ли этот принцип на мне, самом Сатане?

Он был прав: я действительно хотел это знать. Пока что Сатана меня не разочаровывал: он был явно умнее моих дипломированных коллег-собутыльников. Не утруждая себя даже кивком головы (если ты Сатана – читай в моей душе знаки смущения и согласия), я спросил в лоб:

– Если ты настолько темен и поган, то как же тебе удастся избежать божественных достоинств? Ты что же, тьма без света, тоже не подвластен законам диалектики? Я просто в недоумении.

– Подвластен, конечно, как всякое существо на этом свете. Я вот хотел как можно хуже, а получилось – лучше не придумаешь. Да, да, не округляйте глаз с расширенными алкоголем зрачками. Постмодерновый модус диалектики, – бегло добавил он. – Если угодно – принцип жизнедеятельности постмодернового Сатаны. Доказательство: я ушел от жены, полагая, что совершаю величайшую глупость, а оказалось – попал в рай. Вникаете? Фурию жену променял на толпы гурий.

С этими словами Сатана снял маску и оказался приятным мужчиной где-то моих лет, с аккуратно подстриженными ухоженными усами, намекавшими на его холостой статус. Этакий холеный любитель свежей клубнички. Я еще не успел прийти в себя от слова «модус», как вдруг такая метаморфоза...

Дьявол явно брал верх надо мной.

– Да, – сказал я, призадумавшись, – рушатся браки. Да что браки... Диалектика дает трещину. Империя рухнула на наших глазах. Мы с вами обломки империи, с чем вас и поздравляю.

– Мне наплевать на империю. К тому же, знаете, в мутной воде иной раз такая рыбка попадается... Не жалуюсь.

– Это называется «после меня хоть потоп». Не очень гуманно. И где же это, в каком-то таком аккуратном медресе учат на Дьявола?

– На философском, разумеется. Сатана – это призвание, а не профессия; но образование у Сатаны должно быть философское. Чего тут темнить...

– Я восхищен дерзостью мысли, – промямлил я.

– Меня зовут Вадим, – сказал Сатана, учтиво отводя мой комплимент.

– Меня тоже, – не удивился я. – И я тоже ухожу от жены. И тоже в рай хотелось бы. И я тоже заканчивал философский... Хотя, строго говоря, уходит она от меня. А это что такое? – ткнул я пальцем в поникшие уши.

– Так сегодня же Хеллоуин, день всех святых, вот мне и досталось это чучело.

– Дьявол – он что, теперь тоже числится в списках святых? Интересно, под каким номером?

Мой собеседник с неподражаемым равнодушием пожал плечом.

– Знаешь, как это все называется? – интригуяще спросил я.

– Как?

– Отчуждение от мира темных сил. Мне даже туда дороги нет. Хотя у меня накопилось немало претензий к дьяволу.

– Интересно было бы услышать.

– Прежде всего, я считаю бессмысленным утверждение, будто рукописи не горят, и что не надо ни о чем просить сильных мира сего, дескать, сами все принесут на блюдечке с голубой каемочкой (кстати, эти блюдечки – милая пошлость, типичное мешанство, но отменный поэтический образ, вы не находите?). Совершеннейшая чушь. Две глупости подряд. Горят и не принесут. У вас есть рукописи?

– Нет. Мне незачем писать, я обеспеченный человек.

– Какая дьявольски интересная постановка вопроса... Жаль, что обеспеченный Лев (я имею в виду Толстого, конечно) ничего об этом не подозревал. Деньги украли у вас талант, говорите? Жаль. Сейчас бы спалили вашу писанину, и можете мне поверить, что этот невинный эксперимент впечатлил бы вас. Очень жаль, что вы не пишете: это большая потеря для литературы.

– Не спеши разочаровываться. Давай дружить: хотим как лучше – смотришь, получится какая-нибудь дрянь. Благие намерения, того и гляди, приведут в ад. Что скажешь? В рай попадают с гнусными, бредовыми помыслами. Аминь.

Я не слышал в своей жизни ничего более божественного, чем эта глубокая галиматья, и с восторгом бросился на грудь своему новому приятелю Сатане.

– А у тебя жена была красивая? – поинтересовался я у Вадима-Сатаны, как у старого доброго знакомого.

– Красивая, – ответил он и вытащил ее фото из дорогого бумажника рыжей кожи, заманчиво распахнувшего свои многочисленные потаенные кармашки, отделения и просто разрезы, куда были вставлены глянцевые (визитные) и пластиковые (банковские) карточки. Этот портмоне был паспортом социального благополучия клиента и гражданина. Так сказать, достаю из широких штанин – и...

– Вот это да! – изумился я, хмелея и трезвея одновременно.

С фотокарточки мне улыбалось лицо Лоры, моей потрясающей любовницы или моей сладкой возлюбленной, как сказал бы Соломон (не мой папенька, понятное дело, а тот старец, десятилетияльный юбилей которого где-то рядом, вот-вот; надо бы отметить). Все получилось как нельзя лучше: я и любовницу сохранил, и друга-приятеля приобрел. То, что произошло «однажды», было очень удачненько.

На прощание я спросил:

– А у тебя сестра есть?

– Нет, у меня есть дочь.

– Это я знаю, – ляпнул я.

– Откуда это вам известно, позвольте полюбопытствовать? – прищурился от дыма сигареты Вадим, теребя уши Сатаны.

– Это же дважды два: если есть жена, то, вполне вероятно, должна быть и дочь.

– Почему же не сын, например?

– Ты от жены ушел? Ушел. Значит, она сильная женщина. От слабых не уходят: с ними так легко быть сильным. Раз твоя жена сильная женщина, следовательно, она должна передать свои достоинства по женской линии. Природа любит закреплять признаки жизнеспособной породы. Генетика – слышал что-нибудь об этой строгой науке? Вот жена и родила тебе дочь.

– Ты хочешь сказать, что у меня нет сына потому, что я слаб, и мне нечего передать потомству по мужской линии? Разве я так уж неинтересен матушке-природе?

– Нет, я за диалектику в таком модусе: у тебя была сильная жена. О тебе мы сейчас не говорим; кто знает, возможно, следующие двое ваших детей были бы мальчиками...

– В этом что-то есть, конечно.

– Есть, есть. В этом есть крупица истины. А вот сестра – это совсем другое дело. Если ей повезло с братом – на ней природа отдыхает. А если нет... Сестры, брат, существа капризные. Хочешь, я познакомлю тебя со своей сестрой?

– Зачем?

– Из лучших побуждений.

– А-а, ну, тогда валяй.

4

Чтобы понять смысл и содержательность моего восклицания (я, помнится, возопил «вот это да-а!», когда по моим глазам резануло изображение роковой Лоры, улыбавшейся мне своей секретной улыбкой), надо вернуться на несколько лет назад, если уж точкой отсчета в моей биографии делать забавную встречу с лжесатаной (хотя я предпочитаю иную точку отсчета, а именно: начало).

Однажды я заглянул к своей сестре на работу (КБ в НИИ (NB: не путать Конструкторское Бюро с Коллективным Бессознательным), кажется, что-то научное, связанное то ли с холодильниками, то ли с мясорубками), увидел ее очаровательную коллегу – и обомлел. Это была Лора. В этой замужней женщине было столько кошачьего шарма, столько шаловливого мур-мура, столько призывной ленивой грации, открыто говорящих о том, чего жаждет обольстительница, что не заметить всего этого было, в конце концов, неприлично. Где-то даже отдавало хамством. И я, разумеется, решительно обратил внимание на ее страдания, хотя в ее призывности был легкий перебор, что покорило мое чувство вкуса.

Но когда моя сестрица с интонацией «вот это да!» шепнула мне: «Что ты сделал с бедной женщиной? Я никогда не видала ее такой... пушистой; просто кошечка на лавочке, да и только», – я успокоился, потому что понял: спектакль был разыгран специально для меня. Значит, ирония, скрывающая отчаяние, мне не почудились. Роскошная женщина, доведенная до отчаяния, – это, я вам скажу, дорогого стоит.

Вскоре я убедился, что ее чувство вкуса не уступает моему. Более тонкой женщины я не встречал в своей жизни (убедительные доказательства будут представлены несколько ниже). Нет, все же встретил. Но только один раз.

И я уже всерьез подумывал о женитьбе на Лоре (ее муж, богатый нигилист, переставший замечать проблемы тридцатилетней – боящейся увядания! – женщины и поплатившийся за свой эгоизм приобретением роскошнейших рогов, отлитых из сплава лицемерия и страсти высочайших проб, был давно вычеркнут из ее жизни, хотя и не подозревал об этом – до поры до времени не подозревал), как вдруг в моей жизни произошло удивительное событие, с пугающей ясностью приоткрывшее мне природу человека и в то же время окончательно меня запустившее. Я второй раз в жизни стал мужчиной (о первом и третьем причастиях речь, опять же, впереди; так странно: все, что уже случилось – впереди; писатель – это человек, для которого не существует разницы между прошлым и будущим). Я полюбил смиренную Ивонну, милую полку, несколько заносчивую и при этом страшно преданную. (Преданность – любопытное чувство, несколько книжное, подозреваю, что библейское. Предана – значит, не предаст. Значит, и ее нельзя предавать, ибо око за око. Следовательно, женщине можно становиться какой угодно обузой для мужчины – главное, хранить верность и преданность несчастному избраннику, жертве подлого негласного уговора. Вот почему иногда преданность – это завуалированное предательство. Ах, Ивонна... Прощай.) Мне очень хотелось рассказать о своем чистом чувстве любимой Лоре, но я боялся ее ранить. Я не обманывал Лору – оберегал: есть разница. В этом свете пилатовский ребус «что есть истина?» представлялся мне школьной шарадкой. Истина была в том, что я любил Лору, обманывал, оберегал – ибо любил другую, которую мне тоже не хотелось обижать, поэтому приходилось обманывать (в ее же интересах). Интересы

женщин были на первом месте. Если это не истина (которая убила бы Джульетту быстрее того некачественного яда, который она, бедняжка, проглотила по воле чудовища Шекспира), то что это? Эгоизм?

Спасибо за подсказку. Сначала я и сам так думал, потом понял, что жестоко ошибаюсь.

Опыт человеческий, запечатленный в книгах и гипотезах и призванный служить образцом, по которому следует лепить подобию, странным образом мне не пригождался, так сказать, не был востребован. Я жил с чистого листа, как будто до меня не жили люди, не любили, не разочаровывались, как будто не было Суламифи, Джульетты или Соло. То есть они-то были, но опыт их чувств казался мне не полным, обидно односторонним – подогнанным под приличия, а не под природу человека. Все эти истории, казалось мне, были благородным обманом, сотворенным из самых лучших – отборных! – побуждений. Повествователи явно чего-то не договаривали.

И вот я рассказываю себе и вам правдивую жизненную историю – потому и глуповатую, что жизненную. Ибо третьим убеждением, дополнившим два первых, сформировавшихся в университете, было следующее: мудрость – пыльца жизни; очень сложно, не вмешиваясь в глупую жизнь, не перекраивая ее по своему произволу, – словом, не прибегая к насилию, извлечь из ее простых и грубоватых узоров нечто тонкое, изысканное, явно превосходящее куцые страсти, которыми кормили нас веками. Мудрость входит в химический состав глупости; но нет такого соединения – чистая мудрость. Этот состав тут же улетучивается ядовитым испарением. Место ему – в колбе Сатаны.

А глупость – вот она, тверди и хляби: весома, зримо и ненависсимо.

5

Однажды, когда я рассуждал о странностях и превратностях любви, раздался телефонный звонок от моего папы, не сказал бы, что горячо любимого, однако же родителя, как ни крути. «Свой своему поневоле рад», – говаривал мой дед. И был по-своему, по народному, прав.

Папа мой, Соломон Кузьмич, сообщил мне две новости, от каждой из которых нормальный сын мог бы получить разрыв аорты, опускание почек или разлив желчи, на выбор, а то и все сразу, если повезет. Вначале он сообщил мне, что у него «проснулся» рак, а именно: рак желудка (отступивший несколько лет тому назад, что вызвало переполох в известных медицинских кругах – сенсация! чудо! человек побеждает рак; «Рак пятится назад!» – называлась одна из газетных статей), а потом сказал, что желает поговорить со мной откровенно.

Чтобы понять, почему меня взволновал звонок любезного папаши, надо знать долгую историю наших непростых отношений.

Итак...

Раздел 2. Папа

1

А вот теперь – о начале моей истории.

Конечно, началась она с Соломона Кузьмича, и даже просто с Соломона. Но та история, в которой действующим лицом был собственно я, началась в тот момент, когда во мне проснулось сознание или, лучше сказать, произошло отчуждение сознания от тела и души. В мире явилась и идеально материализовалась иная точка отсчета. Мир раскололся на два разных измерения.

И произошло это в тот миг, когда я понял: не ощущения являются главными в этом мире, нет; есть сила выше, главнее впечатлений, потому что она-то и производит впечатления, и имя этой силе – понимание. Это произошло тогда, когда отец мой с серьезным восторгом рассказывал мне о бабочке: «Видишь эту кирпично-красную пыльцу на легких желтоватых крыльях? Порхает такой осколочек кирпича, и все дивятся. А это и не кирпич вовсе, это мельчайший кофейный налет; кажется, что бабочка должна пахнуть шоколадкой или фантиком от конфетки, разве нет?»

А я вдруг постиг: дело тут вовсе не в бабочке. Я понял, что отец мой досточтимый врет, боится того, что он врет и скрывает это от самого себя. Он боится понимания, боится саморазоблачения. Вот и появились на свет цветастые бабочки: светло-светло-зеленые, почти оранжевые, черные с шелковым отливом...

Отец играл с самим собой в прятки, в детскую игру, и мне ли, ребенку, было не понять всей прелести «закмуривания»: закроешь глаза, попадешь в нестрашную темноту – вот и нет проблемы. Страус, длинноногий подросток, отдыхает.

Я помню: отец сидел возле камина (он любил открытый огонь, рваные края которого чем-то напоминали оранжевый рой бабочек, трепыхавшихся упругой бахромой; они готовы были упорхнуть в любое мгновение, но что-то тянуло их к огню, в камин) и в который уже раз со вкусом созерцал свою коллекцию, перебирая хрупкие силуэты (не прикасаясь пальцами, Боже упаси!). «Бабочка-красавица, кушайте варенье, или вам не нравится наше угощение? Помнишь?» Он говорил мне, говорил – а я чувствовал, что становлюсь уже взрослым мальчиком, почти мужчиной (вот оно, первое причастие к мужскому!), ибо начинаю за деревьями видеть лес; по крайней мере, я стал догадываться, что человек устроен очень сложно, и даже мой папа, взрослый дядя, хочет казаться сильным и беспечным, хотя что-то он мучительно скрывает – прежде всего, от себя самого. Я чувствовал это физически, чувствовал, что понимаю, то есть вижу тайные мотивы поведения человека.

Тогда же по краешку моего сознания, только-только проклюнувшегося из темного кокона, отложенного кем-то на случай на границе небытия, бабочкой скользнула неясная мысль, которую я запомнил ощущением, и уже позже, будучи студентом, сформулировал следующим образом (имея своего рода страсть к корректировке расхожих банальностей, ни у кого не вызывающих сомнения, что меня, естественно, раздражало): ты в ответе не только за тех, кого приручил, но в первую очередь – в ответе за то, что не смог приручить тех, за кого ты в ответе. Не надо было врать, папа, надо было просто быть умным и черпать мужество в разуме. А бабочки, конфигурацией восходящие к славным женским попкам...

Они всегда напоминали мне разновидности фиговых листиков. Мириады фиговых листочков, из ярких лоскутков которых сшивалась ширма приличия. Средних баллов шторм, добрая трепка здравого смысла – и фантики с запахом ванили превращаются в кучку мусора.

Это был первый опыт мышления, и перспективы передо мной открылись необозримые. Каждое утро я просыпался с радостным настроением – оттого, что стал другим, непростым, интересным самому себе.

Итак, история моя началась, и беспечный папа позаботился о том, чтобы умственно я развивался как можно быстрее, ибо бросили меня одного (почему? за что? за какую провинность?), на воспитание деду. Мамы моей к тому времени, к моим годам семи, уже не было (была бы мама – был бы я другим?), папа удалился жить отшельником на заброшенный хутор. Дед хмуро швырял садовый инструмент (пытался забыться работой), а мне чудилась за всеми этими нелепыми поступками взрослых большая, мало кого украшающая тайна.

Проблема приемлемого начала волновала меня уже тогда, и я спрашивал у деда:

– Дед, а правда, что мы казачьего роду? Мне так бабушка сказала. Ты – казак?

Кузьма Петрович, отесывая чурку для топорища (в такие моменты он удивительно напоминал мне папу Карло), отвечал без выражения:

– Мой дед – казак, отец мой – сын казачий, а я – хрен собачий. Понял?

– Не совсем.

– Подрастешь – поймешь.

– А правда, что мы произошли от обезьян?

– Нет, неправда. Это обезьяны произошли от нас. Вот вырастешь, и станешь мартышкой.

– Дед, я еще ребенок, меня нельзя обманывать.

– Пишут, что мы от обезьян. А где же тогда хвост?

– Не знаю.

– Вот и я не знаю. Темное это дело...

Мамы, как я уже сказал, не было; ее не стало, и я не помню, чтобы ее хоронили, она просто исчезла, и от меня это как-то искусно скрывали. Я же понимал только одно: спрашивать о маме – бесполезно.

И я замкнулся, обострив свою наблюдательность до болезненных пределов.

В душе моей помимо воли росла и крепла обида: я чувствовал, что особенно никому не нужен, и главным виновником моих бед представлялся мне отец. Он меня бросил, отказался от меня. Предал. Почему? Что я ему сделал?

Мама бы никогда так не поступила. О маме я думал как о добром, нежном существе, которая любила бы меня просто потому, что я – это я (смутно припоминалось нечто колыбельное, прелесть теплой груди, молочные сосцы). Мне остро не хватало такой любви, не хватало мамы. Я придумал себе ее образ, живо воображал ее лицо, интонации, сияющие теплом глаза. Мама была всегда права, а все другие, и особенно отец, – виноваты.

Иногда дед посылал меня на хутор, к отцу, чтобы я отнес ему корзинку с провиантом: соль, сало, спички, то да се. Возможно, дед хотел, чтобы я, самостоятельный не по годам, чаще попадался Соломону на глаза и восхищал его своей сообразительностью; трудно сказать, на что рассчитывал Кузьма Петрович, но меня эти походы не вдохновляли. Красная Шапочка из меня получилась неважная.

Отец смотрел на меня отчужденно-внимательно, ни о чем не расспрашивал и ничего не объяснял. Но я ходил к нему, редко, хотя и регулярно; при этом уже чувствовал в себе силы отказаться от сыновнего долга – присматривать за папенькой. Дело в том, что как-то раз я обнаружил на его просторном, грубо, но прочно сколоченном топчане небрежно брошенное женское платье; в следующий раз я нашел в доме (потому что искал) волнующе легкую косынку, потом на глаза мне попались вязаные варежки с веселой радугой на запястьях; наконец, я чуть не задел головой выстиранное женское нижнее белье, которое сохло возле печки. Отец молчал, я ни о чем не спрашивал, хотя любопытство мучило меня нестерпимо.

Однажды, когда мой визит оказался продуманно непредсказуемым, я застал в его доме барышню-хозяйку. Отца не было, он промышлял в лесу.

Девушка оказалась милой и разговорчивой, по возрасту лет на пять-шесть старше меня (мне минуло в ту пору лет двенадцать). Она уже постоянно жила с моим отцом и не собиралась от него уходить. Сказала, что я «душка».

Девушка мне понравилась, но я был разочарован. Неужели я ожидал увидеть здесь свою маму? Трудно сказать. Здесь протекала своя жизнь, в которой для меня явно не было места.

И я перестал бывать у отца, вторично испытал полынную горечь отчуждения.

2

Мы не виделись с папашей лет десять. Однажды он появился в доме деда (в то время я, замороженный философией, – то есть разочарованный ее результатами и очарованный ее возможностями – заканчивал университет) и молча опустился на скамью: его вконец измучили нестерпимые боли, и он пришел к людям умирать. У него обнаружили рак желудка.

Увидев меня, он заплакал.

– Нам надо поговорить, – сказал высохший, пожелтевший человек, напоминавший моль, которого я, по странному стечению обстоятельств, вынужден был считать своим отцом – то есть человеком, давшим мне жизнь и заботившимся о том, чтобы моя жизнь была прекрасной и счастливой.

– Ты хочешь завещать мне бесподобную коллекцию бабочек? – спросил я, тронутый его порывом.

К сожалению, пришел час моего торжества, и я не находил в душе своей ничего похожего на желание прощать или запоздалое раскаяние в том, что не только отец потерял сына, но и сын – отца. Я ничего не хотел знать о части причитающейся на мою долю вины. Я казнил его непоказным равнодушием. В сущности, мне хотелось одного: чтобы это все кончилось как можно быстрее. Ролью палача я не собирался упиваться, быть свидетелем последних судорог чужого мне человека в планы мои не входило, но уйти я почему-то не мог.

Все таки у смерти есть свои права и законы. Она заставляет с собой считаться.

– Я хочу рассказать тебе одну историю. Умирать с этим тяжело. Когда-нибудь ты меня поймешь. Не перебивай меня. Пожалуйста. Однажды...

Однажды он страстно влюбился в мою маму (фотографии, которые мне ни разу не показывали, прилагались). Чувство оказалось взаимным, и родители мои поженились. Через положенные девять месяцев родился я (то есть спустя три месяца после женитьбы), а еще года через два моя мама в припадке буйной ненависти (что-то у них с папой разладилось вконец) сказала ему буквально следующее: «У твоего бога имя – Пресность, а фамилия – Черствость; моего же зовут просто – Страсть. Ты ревнуешь меня не к мужчинам, а к моему характеру, к моей любви к жизни. Да, у меня есть свои заморочки, свои демоны, и ты делаешь все, чтобы толкнуть меня к ним в омут. И чего ты добился? Был желанный возлюбленный, стал скучный суженый, мне же оставил женское любопытство к легким отношениям с мужчинами. А мне нужен – возлюбленный. Так вот Вадим – не твой сын, он дитя разврата, плод одной случайной ночи, проведенной не с тобой. Больше я тебе ничего не скажу». Я сразу почувствовал, – на генетическом уровне – что мама, родная кровь, могла и должна была сказать такое. Я сразу же полюбил ее еще больше, и мы уже вместе выступали против папы.

– И что же случилось с мамой? – тоном прокурора, должностью приговоренного вникать в самые неприглядные подробности, спросил я.

В ответ папа скорчился и поник: его одолели боли.

На следующий день он, уставившись в пространство невидящими глазами (может, он заглядывал в себя? или научился не замечать людей в мире, состоящем из грибов и бабочек?), продолжил свое повествование. Однажды...

...Мой папа сильно заскучал, задетый за живое. Однажды он привел свою жену на край обрыва – туда, где они наслаждались расцветом своей любви (я знаю эту скалу: крутой холм, огромный камень, вросший в землю, и – вид на лесной простор, поразивший бы самого Икара), и поставил перед ней ультиматум: или она называет имя моего блудливого отца – или тут же прощается с жизнью, на месте, прямо сейчас. Мама, встав на пик скалы, рассмеялась ему в лицо, хотя в глазах у нее стояли слезы. И тут папа удивил самого себя: оказывается, и в его жилах текла кровь, а не водица, и он толкнул упругое тело мамы изо всех сил. Мама что-то тихо вскрикнула. Ему показалось, с губ ее слетело жалобное слово «Соломон». Или что-то очень похожее. Получалось, что гражданин Локоток, Соломон Кузьмич, только что, своими же руками, убил мать собственного сына?

В моменты помрачения, когда на него, словно валун с той кручи, накатывало нестерпимое раскаяние, переплетенное с чувством вины, папеньку всегда выручали мамин монолог («стал скучный суженый...») и ее сверкающие ненавистью глаза. После этого он многое себе прощал – чтобы сразу же ощутить потяжелевшую вину.

Похоронил он ее тут же, под камнем. Вскоре после этого ушел в свой скит: выносить самого себя было проще вдали от людей. Среди бабочек.

Кузьма Петрович несколько раз обнаруживал цветы на месте безымянной могилы, и однажды застал горевавшего сына на месте преступления. Тот обо всем рассказал отцу. В ответ словоохотливый дед не проронил ни слова. Позже отделался неясной сентенцией, адресованной, впрочем, неизвестно кому: «Близок локоток, да язык короток». Но чувство вины Соломона Кузьмича было настолько запредельно невыносимым, что молчание деда отяготило его нечувствительно.

В этом месте признательного повествования нестерпимые боли опять скрутили невольного убийцу, и он прервал рассказ до следующего утра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.